

Михаил Салтыков-Щедрин

Деревенская тишь



Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин
Деревенская тишь
Серия «Невинные рассказы»

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=134113

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин Деревенская тишь

Утро. Кондратий Трифоновч Сидоров спал ночь скверно и в величайшей тоске слоняется по опустелым комнатам деревенского своего дома. Комнат целый длинный ряд, и слоняться есть где; некогда он гордился этим рядом зал, гостиных, диванных и проч. и даже называл его анфиладою, пронося н несколько в нос; теперь он относился к анфиладе иронически и, принимая гостей, говорит просто: «А вот и сараи мои!»

На дворе зима и стужа; в комнатах свежо, окна слегка запушило снегом; вид из этих окон неудовлетворительный: земля покрыта белой пеленою, речка скована, людские избы занесло сугробами, деревня представляется издали какою-то безобразною кучею почерневшей соломы... бело, голо и скучно!

Походит-походит Кондратий Трифоновч – и остановится. Иногда потрет себе ладонью по животу и слегка постонет, иногда подойдет к окну и побарабанит в стекло. Вон по до-

роге едут в одиночку сани, в санях завалился мужик; проезжает мимо барского дома и шапки не ломает.

– «Ладно!» – думает Кондратий Трифоныч.

И опять начинает ходить по своим сараям, и опять остановится. Посмотрит на сапоги, просторно ли они сидят на ноге, вытянет ногу, чтоб удостовериться, крепко ли штрипки пришиты и не морщат ли брюки.

– Ванька! квасу! – кричит Кондратий Трифоныч.

Ванька бежит из лакейской и подает на подносе стакан с пенящимся квасом. Но Кондратию Трифонычу кажется, что он не подает, а сует.

– Что ты суешь? что ты мне суешь? – вскидывается он на Ваньку.

– Ничего я не сую! – отвечает Ванька.

«Ладно!» – думает Кондратий Трифоныч.

И опять начинается ходьба. Кондратий Трифоныч останавливается перед стенными часами и пристально смотрит на циферблат, посередине циферблата крупными буквами изображено: London, а внизу более мелким шрифтом: Nossoff a Moscou. Все это он сто раз видел, над всем этим сто раз острил, но он все-таки смотрит, как будто хочет выжать из надписи какую-то новую, неслыханную еще остроту. Часы стучат мерно и однообразно: тик-так, тик-так; Кондратий Трифоныч вторит им: «тикё-такё, тикё-такё», притоптывая в такт ногою. Наконец и это прискучивает; он снова подходит к окну и начинает вглядываться в деревню. Оттуда не слыш-

но ни единого звука; только серые дымки вьются над хижинами добрых поселян. Кондратию Трифону, неизвестно с чего, приходит на мысль слово «антагонизм», и он начинает петь: «Антагонизм! антагонизм!», выговаривая букву н в нос. Все это заканчивается свистом, на который опять вбегает Ванька.

– Ты что на меня глаза вытаращил? – напускается на него Кондратий Трифону.

– Ничего я не вытаращил! – отвечает Ванька.

– Ладно! – говорит Кондратий Трифону, – пошел, позови Агашку!

Через минуту является Ванька и докладывает, что Агашка не идет.

– Почему ж она не идет?

– Говорит: не пойду!

– Только и говорит?

– Только и говорит!

– Ладно!

В голове Кондратия Трифону зреет мысль: он решает все терпеть, все выносить до приезда станового. Поэтому, хотя внутри у него и кипит, но он этого не выражает; он даже никому не возражает, а только думает про себя: «Ладно!» – и помалчивает... до приезда станового.

Не дальше как вчера на ночь Ванька снимал с него сапоги и вдруг ни с того ни с сего прыснул.

– Ты чему, шельма, смеешься? – полюбопытствовал Кон-

дратий Трифоныч.

– Ничего я не смеюсь! – отвечал Ванька.

– Этакая бестия! смеется, да тут же в глаза еще запирается!

– Чего мне запираяться? кабы смеялся, так бы и сказал, что смеялся! –упорствовал Ванька.

– Ладно!

С этих пор в нем засела мысль, с этих пор он решился терпеть. Одно только смущает его: все свои грубости Ванька производит наедине, то есть тогда, когда находится с Кондратьем Трифонычем с глазу на глаз. Выйдет Кондратий Трифоныч на улицу – Ванька бежит впереди, снег разгребает, спрашивает, не озябли ли ножки; придет к Кондратию Трифонычу староста – Ванька то и дело просовывает в дверь свою голову и спрашивает, не угодно ли квасу.

– Услуга-парень! – замечает староста.

– Гм... да... услуга! – бормочет Кондратий Трифоныч и обдумывает какой-то план.

Он считает обиды, понесенные им от Ваньки, и думает, как бы таким образом его уличить, чтоб и отвертеться было нельзя. Намеднись, например, Ванька, подавая барину чаю, скорчил рожу; если бы можно было устроить, чтоб эта рожа так и застыла до приезда станового, тогда было бы неоспоримо, что Ванька грубил. В другой раз на вопрос барина, какова на дворе погода, Ванька отвечал: «Сиверко-с», – но отвечал это таким тоном, что если бы можно было, чтоб тон

этот застыл в воздухе до приезда станового, то, конечно, никто бы не усумнился, что Ванька грубил. И еще раз, когда барин однажды делал Ваньке реприманд по поводу нерачительно вычищенных сапогов, то Ванька, ничего не отвечая, отставил ногу; если бы можно было, чтоб он так и застыл в этой позе до приезда станового, тогда, разумеется...

– Нет, хитер бестия! ничего с ним не поделаешь! – восклицает Кондратий Трифоныч и ходит, и ходит по своим сараям, ходит до того, что и пол-то словно жалуется и стонет под ногами его: да сядь же ты, ради Христа!

Он уже давно заметил, что между ним и Ванькой поселилась какая-то холодность, какая-то натянутость отношений. Услышавши, что об этом предмете весьма подробно объясняется в книжке, называемой «Русский вестник», он съездил к соседу, взял у него книжку и узнал, что подобная натянутость отношений называется сословным антагонизмом.

– Ну, а дальше что? – допрашивал Кондратий Трифоныч, но книжка говорила только, что об этом предмете подробнее объясняется в другой такой же книжке.

– Оно конечно, – рассуждал по этому поводу Кондратий Трифоныч, – оно конечно... Ванька сапоги чистит, а я их надеваю, Ванька печки топит, а я около них греюсь... ну да, это оно!

И с тех пор слово «антагонизм» до такой степени врезалось в его память, что он не только положил его на музыку, но даже употребляет для выражения всякого рода чувств и

мыслей.

И ходит Кондратий Трифонович по своим опустелым сараям, ходит и останавливается, ходит и мечтает. Мало-помалу мысль его оставляет Ваньку-подлеца и обращается к другим предметам. Он думает о том, что вдруг будущим летом во всех окрестных имениях засуха, а у него у одного всё дожди, всё дожди: что окрестные помещики не соберут и на семена, а он все сам-десять, все сам-десять. Он думает о том, что кругом все тихо, а у него в имении вдруг землетрясение! слышится подземный шум, люди в смятении, животные в ужасе... вдруг – вв!.. зз!.. жж!.. и, о радость, на том самом месте, где у него рос паршивый кустарник, в одну минуту вырастает высокий и частый лес, за который ему с первого слова дают по двести рублей за десятину. Он думает о том, что мужики его расторгались, что они помнят его благодеяния и подносят ему соболью шубу в пятнадцать тысяч рублей серебром. Он думает о том, что в Москве сгорело все сено, сгорели все дрова и неизвестно куда девался весь хлеб, что у него, напротив того, вследствие собственной благоразумной экономии, а также вследствие различных поощрений природы, всего этого накопилось множество, что он возит и продает, возит и продает... Он думает о том, что вышло повеление ни у кого ничего не покупать, кроме как у него, Сидорова, за то, что он, Сидоров, в такую-то достопамятную годину пожертвовал из крестьянского запасного магазина столько-то четвертей, да потом еще столько-то четвертей, и тем

показал ревность беспримерную и чувствительность, подражания достойную... Он думает о том, что в доме его собрались окрестные помещики и что он им толкует о превосходстве вольнонаемного труда над крепостным. «Конечно, господа, – говорит он им, – в настоящее время помещик не может получать дохода, сидя на месте сложа руки, как это бывало прежде; конечно, он прежде всего должен употребить свой личный труд, свою личную, так сказать, распорядительность»...

Но вот мысли его от усиленной работы начинают мешаться. Перед глазами его от непрерывного коловратного движения показываются зеленые круги; белая колокольня, стоящая перед барским домом, начинает словно подплясывать; дворовая баба, проходящая по двору, словно не идет, а на одном месте пошатывается, и что-то у ней под фартуком, что-то у ней под фартуком...

– Есть, что ли, мне хочется? – спрашивает сам себя Кондратий Трифоныч и с злобою замечает, что часовая стрелка показывает только десять.

– А ведь у ней под фартуком что-то есть, – продолжает он, но не дает своим предположениям дальнейшего развития, а только прибавляет: – Ладно!

Надоело ходить, надоело мыслить... Кондратий Трифоныч садится на диван и примечает, что пыль со стола не сметена. В былое время, то есть до «антагонизма», он вскипел бы при виде такого беспорядка, он кликнул бы Ваньку и тут

же задал бы ему трепку. Теперь этот беспорядок приносит ему более удовольствия, нежели огорчения, ибо он видит в нем улику.

– Ванька! – кричит Кондратий Трифоныч, и в голосе его слышится уже торжество победы, – это что?

– Стол-с, – отвечает Ванька с самым невозмутимым хладнокровием.

– А на столе что?

– Пыль-с.

– Ну?

Ванька молчит.

– Ладно! – говорит Кондратий Трифоныч и через минуту имеет удовольствие слышать, как Ванька хихикает с кем-то в передней.

Кондратий Трифоныч снова предается мечтаниям. Он мечтает о том, как было бы хорошо, если бы он был живописцем; тогда бы он срисовал бы нахальную Ванькину рожу в тот момент, когда он отвечает: «Пыль-с», – и представил бы эту картинку становому. Но с другой стороны, где же ручательство, что становой не примет этой картинки за вымышленное произведение собственной его, Кондратия Трифоныча, фантазии? где свидетели, которые подтверждали бы, что Ванька, отвечая: «Пыль-с», имел именно такое, а не иное выражение лица?

– О, черт побери! Эти приказные вечно с своими канцелярскими закавычками! – восклицает Кондратий Трифоныч

и начинает выискивать мечтаний более практических.

Он мечтает о том, как было бы хорошо, если бы становой вдруг в эту самую минуту вырос из земли, так чтоб Ванька не опомнился и никак не успел стереть пыль со стола. Представляет он себе изумленную, ополоумевшую морду Ваньки и невольно и сладко хихикает.

– «Пыль-с», – дразнит он Ваньку, почти подплясывая на месте.

– Это что? – грозно спрашивает Ваньку воображаемый становой.

– «Пыль-с», – опять дразнится Кондратий Трифоныч и опять подплясывает на месте.

Становой наконец убеждается; он приказывает срубить целую березу и вручает ее десятским. Ваньку уводят... На другое утро Ванька является шелковый; целый день все что-то чистит и стирает; целый день метет пол и оправляет баринову постель, целый день ставит самовары и мешает в печках дрова...

Но с другой стороны (о, черт возьми!), где же ручательство, что становой именно велит березу срубить? Где ручательство, что он не ответит Кондратю Трифонычу, что он и сам мог бы стереть пыль со стола?

– О, черт побери! эти приказные вечно с своими канцелярскими закавычками! – восклицает Кондратий Трифоныч и начинает выискивать мечтаний еще более практических.

Он мечтает, что никаких закавычек больше нет, что он

призывает станового (который нарочно тут и стоит, чтоб за-
кавычек не было) и говорит ему: «Ванька мне мину сделал!»

– Сейчас-с, – говорит становой и летит во весь дух распо-
рядиться.

Потом он опять призывает станового и говорит ему:
«Ванька пыли со стола не стер!»

– Сейчас-с, – говорит становой и летит распорядиться.

Но вот и опять мысли мешаются, опять образуются зеле-
ные круги, опять подплясывает белая длинная колокольня.
Надоело сидеть, надоело мыслить...

– Черт знает, есть, что ли, мне хочется? – опять спрашивает
себя Кондратий Трифоныч и с тоскою взглядывает на ча-
сы. Тоска обращается в ненависть, потому что часовая стрел-
ка показывает половину одиннадцатого.

– За попом, что ли, спсылать? – рассуждает сам с собой
Кондратий Трифоныч и тут же решает, что спсылать необ-
ходимо.

Кондратий Трифоныч малый незлой и даже покладистый
для своих домочадцев, но с некоторого времени нрав у него
странным образом переменился. Ванька, с свойственной
ему легкомысленностью, отзывался об этой перемене, что
Кондратий Трифоныч спятил; ключница Мавра выражалась
скромнее и говорила, что барин задумывается, что на него
находит. Как бы то ни было, но перемена существовала и
произошла едва ли не в ту самую минуту, как он прочитал,
что есть на свете какой-то сословный антагонизм. С тех са-

мых пор он вообразил себе, что он – одна сторона, а Ванька – другая сторона и что они должны бороться. Ванька представлял собою интересы всех чистящих сапоги и топящих печки, Кондратий Трифоныч – интересы всех носящих сапоги и греющихся около истопленных печей. Ясно, что стороны эти не могут понимать друг друга и что из этого должен произойти антагонизм. И вот он борется утром, борется за обедом, борется до поздней ночи. Но Ванька не понимает, что такое антагонизм, и, очевидно, уклоняется от борьбы. Он направляет свои обязанности по-прежнему, то есть по-прежнему не стирает пыли со столов, по-прежнему забывает закрыть трубы в печах, а Кондратий Трифоныч видит во всем грубые мины, злостные позы а la неглиже с отвагой и старается Ваньку изобличить. Из этого выходит, что Ванька, как только забьется в переднюю, первым делом начинает хихикать и представляет, как барин к нему пристаёт. Кондратий Трифоныч слышит это и говорит: «Ишь, шельма, смеется!», а того никак понять не хочет, что Ванька даже и не подозревает, что ему, Кондратию Трифонычу, хочется борьбы. И таким образом умаявшись к вечеру, оба засыпают; Кондратий Трифоныч видит во сне, что он сделался медведем, что он смял Ваньку под себя и торжествует; Ванька видит во сне, что он третьи сутки все чистит один и тот же сапог и никак-таки вычистить не может.

– Что за чудо! – кричит он во сне и как оглашенный вскакивает с одра своего.

«Ишь ведь каналья, даже во сне не оставляет в покое!» – думает в это время Кондратий Трифоныч, пробужденный неестественным криком Ваньки.

И таким образом проходят дни за днями. Выигрывает от этого положительно один Кондратий Трифоныч, потому что такое препровождение времени, по крайней мере, наполняет пустые дни его. С тех пор как завелось «превосходство вольнонаемного труда над обязательным», с тех пор как, с другой стороны, опекунский совет закрыл гостеприимные свои двери, глуповские веси уныли и запустели. Заниматься решительно нечем, да и не для чего: все равно ничего не выйдет. Говорят, будто это оттого происходит, что кредиту нет и что Сидорычам подняться нечем; может быть, жалоба эта и справедлива, однако до Сидорычей ни в каком случае относиться не может. Недостаток кредита не губит, а спасает их, потому что, будь у них деньги, они накопили бы себе собак, а не то чтоб что-нибудь для души полезное сделать. А то еще подниматься! Повторяю: веси приуныли и запустели; в весях делать нечего, потому что все равно ничего не выйдет. То, что оживляло их в бывалые времена, как-то: взаимные банкеты и угощения, а также распоряжения на конюшне, то в настоящее время не может уже иметь места: первые – по причине недостатка кредита, вторые – потому что не дозволены. Каким же образом убить, как издержать распроклятые дни свои? Поневоле ухватишься за антагонизм, хотя в сущности, никакого антагонизма нет и не бывало, а было и есть

одно: «Вы наши кормильцы, а мы ваши дети!» Вот и Кондратий Трифонович ухватился за антагонизм, и хотя он не сознается в этом, но все-таки жизнь его с тех пор потекла как-то полнее. По крайней мере, теперь у него есть политический интерес, есть политический враг, Ванька, против которого он направляет всю деятельность своих умственных способностей. Смотришь, ан день-то и канул незаметным образом в вечность, а там и другой наступил, и другой канул...

Но вот и батюшка пришел; Кондратий Трифонович слышит, как он сморкается и откашливается в передней, и в нетерпении ворчит:

– О, чтоб!.. сморкаться еще выдумал!..

Батюшка – человек маленький, рыхленький; лицо имеет благостное, но вместе с тем и угрожающее, как будто оно говорит: «А вот погоди! скажу я тебе уж проповедь!» Ходит батюшка, словно лебедь плывет, рукой действует размашисто, говорит размазисто. Нос у него, вследствие внезапного перехода со стужи в тепло, влажен, на усах висят ледяные сосульки.

– Скука, отче! – говорит Кондратий Трифонович после взаимных приветствий.

– Можно молитвою развлечься! – отвечает батюшка, и при этом лицо его ослабляется.

– Ну вас!

Молчат.

– Сидел-сидел, молчал-молчал, – начинает Кондратий

Трифоныч, – инда дурость взяла! черт знает чего не передумал! хоть бы ты, что ли, отче, паству-то вразумил!

– Разве предосудительное что заметить изволили? – отвечает батюшка, и лицо его выражает жалость, смешанную с испугом.

– Да что! грубят себе поголовно, да и шабаш!

– Непохвально!

– Просто житья от хамов нет!

– В ком же вы наиболее такое настроение замечать изволили, Кондратий Трифоныч?

– Во всех! От мала до велика – все грубят! Да как еще грубить-то выучились! Ни слова тебе не говорит – а грубит! служит тебе, каналья, стакан воды подает – а грубит!

Батюшка тоскливо помотал головой и крикнул.

– И во многих такое настроение замечаете? – брякнул он, позабыв, что повторяет свой прежний вопрос.

– Да говорят же тебе: во всех! во всех! Ну, слышишь ли ты: во всех! во всех!

Батюшка слегка привскакнул и откинулся назад, как будто обжегся. Опять молчат.

– Что ж это за скука такая! – начинает Кондратий Трифоныч, – закуску, что ли, велеть подать?

– Во благовремении и пища невредительна бывает.

– А не во благовремении как?

Батюшка опять привскакивает и откидывается назад.

– Ну, и сиди не евши: зачем пустяки говоришь!

Молчат.

– Не люблю я, когда ты пустяки мелешь!

Молчат.

– И кого ты этими пустяками удивить хочешь?

Батюшка краснеет, Кондратий Трифонович тяжело вздыхает и произносит:

– Ох, скука-то, скука-то какая!

– Время неблагопотребное, – рискует батюшка, но тут же обнаруживает беспокойство, потому что Кондратий Трифонович смотрит на него сурово.

– И откуда ты этаким глупым словам научился? говорил бы просто: непотребное время! И не надоело тебе язык-то ломать! – строго говорит Кондратий Трифонович.

Опять водворяется молчание, изредка прерываемое глубокими вздохами Кондратия Трифоновича. Батюшка вынимает платок из кармана и начинает вытирать им между пальцев.

– Что это я все вздыхаю! что это я все вздыхаю! – произносит Кондратий Трифонович.

– О гресех... – начал было батюшка, но не окончил, а только пискнул.

– Тьфу ты!

Молчат.

– А ты слышал, что Скуракин на днях такого же вот, как ты, попа высек? – спрашивает внезапно Кондратий Трифонович.

– Сс... стало быть, следствие наряжено?

– Да, брат, тоже вот все говорил: «о гресех» да «благодарно» – ну, и высек!

Всю эту историю Кондратий Трифоныч сейчас только что выдумал, и никакого попа Скуракин не сек. Но ему так понравилась его выдумка, что он даже повеселел.

– Да, брат, права наши еще не кончились! Вот вздумал высесть – и высек! Ищи на нем!

– Однако, позвольте, Кондратий Трифоныч, осмеливаюсь я думать, что господин Скуракин поступил не по закону!

– Ну! по какому там еще закону! Известно, секут не по закону, а по обычаю!

– Позвольте, Кондратий Трифоныч! Я все-таки осмеливаюсь полагать, что господин Скуракин не имел никакого права!

– Высек – и все тут!

– Высесть недолго-с...

– Ну да... и долго, и не долго... а высек!

Батюшка крякнул; он видимо был обижен. Что ж это такое, в самом деле? И с какой стати Кондратий Трифоныч завел такую пустую материю? и не заключают ли слова его фигуры иносказания?

– Стало быть, этак всех высесть можно? – произнес он с видимым волнением.

– Всех!

– Стало быть, и... – Батюшка недоговорил.

– Стало быть, и...

Батюшка обиделся окончательно. Мало-помалу он так разревновался, что даже встал и начал прощаться.

– Уж я, Кондратий Трифоныч, лучше в другой раз приду, когда улучится более благоприятная минута, – сказал он.

– Ну, да постой! куда ты! это ведь я пошутил!

– Неблагообразно шутить изволите!

– Фу, черт! опять ты с своим благоутробием! да говорят тебе: пошутил!

– Нет, Кондратий Трифоныч!

– Слышишь, говорят: пошутил!

– Нет-с, Кондратий Трифоныч!

– Ну, и ступай! ну, и пропадай! Только ты у меня смотри: ни всенощных, ни молебнов... ни-ни!

– И не надо-с! собственную же свою душу не соблюдете!

Батюшка ушел, в передней опять послышалось откашливание и сморкание; Кондратий Трифоныч опять почувствовал прилив тоски.

– Эй! воротить его! – крикнул он.

Ванька побежал, но воротился с ответом, что батюшка не идет.

– Сказать ему, что я умираю!

Батюшка воротился, но стал у самой двери.

– Что вам, сударь, угодно? – спросил он с достоинством.

– Да садись же ты!

– Нет-с, и дома посижу!

– Ну, да полно! благопрости ты меня! поблагодобеседуй ты

со мной! Ну, видишь?

Батюшка колебался.

– А не то, давай почавкаем что-нибудь! А если и это не нравится, так поблагодотрапезуем!

Батюшка плавными шагами приблизился к стулу и сел. Но он все-таки еще не совсем оправился, потому что опять вынул из кармана платок и начал вытирать им между пальцев.

Приносят водку; Кондратий Трифоныч наливает рюмку и подносит батюшке; но в ту минуту, когда батюшка уж почти касается рукою рюмки, Кондратий Трифоныч делает быстрый маневр, и мгновенно выпивает водку сам. Батюшка крикает и опять косится на шапку. Однако на этот раз все устраивается благополучно.

– Я думаю на будущий год молотилку выписать! – говорит Кондратий Трифоныч, а сам в то же время думает: «Кукиш с маслом! на какие-то деньги ты выпишешь!»

– Это полезно, – отвечает батюшка, – и крестьяне от вас позаняться могут.

– Я и сеноворошилку куплю, – упорствует Кондратий Трифоныч, – да вот еще сеялка такая есть...

– Сс... – произносит батюшка.

Молчат. Выпили по другой.

– У меня имение хорошее! – говорит Кондратий Трифоныч.

Батюшка, неизвестно с чего, вдруг распростирает руки, как будто хочет обнять необъятное.

– Ну да! Это надо сказать правду, что хорошее! нужно только руки приложить! – продолжает Кондратий Трифонович, – вот я с будущего года молоко в Москву возить стану!

– Экипажцы, стало быть, такие сделаете?

– Ну да! Положим, например, что корова дает... ну, хоть ведро в день!

Батюшка крякает и откидывается назад.

– Ну да... ну, хоть ведро в день! положим, хоть по восьми гривен за ведро... сколько это будет?

Кондратий Трифонович задумывается и в рассеянности выпивает третью рюмку. Батюшка съедает грибок.

– Одного торфу сколько у меня! – вдруг восклицает Кондратий Трифонович.

– Стало быть, торфом торговать будете? – спрашивает батюшка и, приложив руку к сердцу (дабы не распахнулась ряска), крадется к столу, чтоб отрезать кусочек ветчинки.

– Всем буду торговать! и молоком буду торговать! и торф буду продавать! и ягоды в Москву буду возить! Нонче, брат, глядеть-то нечего! нонче, брат, дворянскую-то спесь надо побоку!

– Сс... – удивляется батюшка, – стало быть, изволите находить, что непередосудительно?

Вместо ответа Кондратий Трифонович выпивает четвертую и в то же время указывает на графин батюшке, который немедленно следует его примеру.

– А позвольте узнать, – спрашивает батюшка, – как же те-

перь купцы, мещане... стало быть, им возбранено будет торговать?

– А мне что за дело!

– Стало быть, этого уж не будет, чтоб всякому, то есть званию предел был положен?

– Не будет! а что?

– Ничего-с; конечно, по Писанию, оно не то чтоб... потому, есть купующие, есть и куплю деющие, есть возделывающие землю, есть и поядающие...

– Ну, так что ж?

– Ничего-с... я к примеру-с...

– И кого только ты этими глупостями удивить хочешь!

Молчат.

– А то вот еще искусственным разведением рыб заняться можно! – вдруг изобретает Кондратий Трифонич.

– Сс... стало быть, всякую рыбицу у себя завести можно?

– Всякую!

– Сс... подумаешь, какую, однако, власть над собой человек взял!

– Да, брат, власть!

– Только тверди и звезд небесных еще соделать не может!

– А рыбу может всякую!

– И безвыгодно?

– Какое, к черту безвыгодно! ты пойми, сколько в Москве стерлядь-то стоит!

– Что ж, это дело хорошее! может, и крестьяне около вас

позаймутся.

Молчат. Кондратий Трифоныч слегка зеваает.

– Я нонче все буду сам! лес рубить буду сам! молоко в Москву возить – сам! торф продавать – сам! – говорит он, приходя внезапно в восторг.

– Доброе, сударь, дело – отвечает батюшка.

– Нонче, брат, не то, что прежде! нет, брат, шалишь! нонче везде все сам: и посмотри сам, и свесь сам, и съезди везде сам, и опять посмотри, и опять свесь!

Кондратий Трифоныч, говоря это, суетится и тыкает руками, как будто он в самую эту минуту и смотрит, и весит, и куда-то едет.

– Это точно; и предки наши говаривали: «Свой глазок смотрок!»

– Предки-то наши только говаривали, а сами одну навозницу соблюдали!

Батюшка снисходительно улыбается. Водворяется молчание.

– Хорошо бы машину какую-нибудь выдумать! – говорит Кондратий Трифоныч.

– Про какую такую машину говорить изволите?

– Ну, да какую-нибудь... чтоб и жала, и косила, и лес бы рубила, и масло бы пахтала... и везде бы один привод действовал!

– Слышно, англичане много всяких машин выдумывают!

– Сидел бы я себе дома, да делал бы, да делал бы машины,

а потом в Москву продавать возил бы.

– Вот бог англичанам на этот счет большую остроту ума дал! – настаивает батюшка.

– А нашим не дал!

– Зато наш народ благочестием и благоугодною к церкви преданностью одарил!

– Ну, и опять тебе говорю: кого ты своими благоглупостями благоудивить хочешь?

Батюшка окончательно конфузится и закусывает губы. Напротив того, Кондратий Трифоныч воспламеняется и постепенно входит в хозяйственный азарт. Он объясняет, что можно налима с лещом совокупить и что из этого должна произойти рыба, у которой будет печенка и молоки налимыми, а тёшка лещиная; он объясняет, что примеры подобного совокупления случались и в природе: стерлядь совокупилась с осетром, и вышла рыба шип, которую он ел на обеде у губернатора.

– Не у теперешнего, – прибавляет он, – теперь у нас какой-то гордишка, аристократишко какой-то, а вот у прежнего, у генерала Слабомуysłова!

Он объясняет батюшке, какую он машину выпишет: и дрова таскать будет, и пахать будет, и воду носить будет, и топить ее будет не дровами, а землей, – все землей!

– Работников, брат, мне с этой машиной совсем не надо! – прибавляет он.

Он объясняет, каких он коров из Англии выпишет; костей

у них совсем нет, а все одно мясо да молоко, все молоко, все молоко!

Он объясняет, наконец, что выстроит новую колокольню, такую колокольню: один этаж каменный, другой деревянный, потом опять каменный и опять деревянный.

– Жертва богу угодная! – замечает батюшка, – жертва, сударь, все равно что кадило благовонное!

– А ты думал как?

– Впрочем, колокольня у нас еще постоит... вот насчет трапезы, Кондратий Трифоныч!

– Уж ты молчи! я все сделаю! и колокольню сломаю! и трапезу сломаю! я все сломаю! – объясняет Кондратий Трифоныч.

И, разговаривая таким манером, выпивает рюмку за рюмкой, рюмку за рюмкой!

Батюшка, в свою очередь, выпивает; и вследствие этого беспрестанно поправляет пальцами глаза, как будто хочет их разодрать, чтоб лучше видеть. В то же время он радуется, что в одно утро приобрел столько разнообразных сведений.

– Это вы благополезное дело затеяли, Кондратий Трифоныч! – говорит он.

– Тьфу ты!

Наконец, изолгавшись вконец и, вероятно, найдя, что машины все до одной изобретены, коровы все выписаны, Кондратий Трифоныч впадает в истощение. Часы бьют два.

– Обедать! – кричит Кондратий Трифоныч, – ты со мной,

что ли, отче?

– Уж очень занятно вы рассказываете, Кондратий Трифонович! послушал бы и еще-с.

– Ну, а коли послушал бы, так оставайся!

Подают обедать; но гений хозяйственной распорядительности уже отлетел от Кондратя Трифоновича. Он не то чтоб спит, но слегка советует и только изредка подмигивает батюшке на Ваньку (дескать, посмотри, как сует!), который, в свою очередь, не стесняясь присутствием этого последнего, показывает барину сзади язык. Таким образом, антагонизм, о котором так много говорит Кондратий Трифонович, представляется батюшке в лицах на самом действии.

– Ты для чего же рыжиков к жаркому не подал? – неверным, несколько путающимся языком допрашивает Ваньку Кондратий Трифонович.

– А для того и не подал, что огурцы есть, – тоже путающимся языком отвечает Ванька.

– Ишь ты! дразнится, шельма! – замечает Кондратий Трифонович и подмигивает батюшке, как бы приглашая его быть свидетелем Ванькиной грубости.

Наконец и сумерки упали. Батюшка давно ушел; Кондратий Трифонович спит и даже во сне ничего не видит. Как повалился он на постель, так ему голову словно заложило чем. В передней вторит ему Ванька.

В шесть часов Кондратий Трифонович уж шагает по своим сараям и просит квасу. В средней комнате уныло мерцает

стеариновая свеча, прочие комнаты окутаны мраком. Кондратий Трифонович шагает и думает: что бы ему сделать такое, чтобы...

– Чтобы что? – спрашивает его внутренний голос.

– Господи! какая тоска! – восклицает Кондратий Трифонович, не разрешая вопроса.

И опять ходит, и все о чем-то думает, все чего-то ждет. Думает о том, что завтра, быть может, будет снег, а быть может, будет и выюга; ждет, что к Николину дню будут морозы.

– О, черт побери! – восклицает он.

И опять ходит, и опять ждет – скоро ли чай подадут?..

– Ванька! да пошли ты, разбойник, Агашку ко мне! – кричит он отчаянным голосом.

Агашка на этот раз является. Это девушка кругленькая, полненькая, белокуренькая, с измятым, но весьма приятным личиком.

– Что вы, Агашенька, ко мне не ходите? – спрашивает ее Кондратий Трифонович, семена кругом нее ножками, как делают влюбленные петухи.

– Вы разве спрашивали меня? – отзывается Агашенька, повертываясь на своей оси по тому же направлению, по какому ходит Кондратий Трифонович.

– Я за вами десять раз Ваньку посылал-с!

– Ванька ни разу мне не говорил!

– Этакой скот, подлец! А отчего же вы сами никогда ко мне не зайдете-с?

Агашенька не отвечает; она слегка зарделась.

– Ну-с, Агашенька-с?

– Я, Кондратий Трифоныч, я-с... – начинает Агашенька и никак не может кончить.

– Ну-с, что же вы-с?

– Я-с... позвольте мне, Кондратий Трифоныч, замуж идти-с! – скороговоркой произносит Агашенька и умолкает, словно сама испугалась слов своих. А щечки у нее так и пылают, так и рдеют от стыда и испуга!

Кондратий Трифоныч озадачен; он думает, как ему поступить, и, разумеется, как все люди, которых самолюбие неожиданно уязвлено, на первых порах надумывает глупейшую штуку. Он как-то надувается и устраивает оскорбленную мину; он поднимает плечи и, отступя несколько шагов назад, указывает Агаше руками на двери.

– Скатертью дорога-с! – говорит он, – ну, так что же-с! и с богом-с!

– Душенька, Кондратий Трифоныч! ей-богу, я не могу! – говорит Агашенька и в то же время стыдится и рдеет, едва выговаривая от волнения слова.

– А коли не можете, так и с богом! – отвечает Кондратий Трифоныч, по-прежнему глупым образом уставляя руки по направлению к двери.

Агашенька закрывает лицо платком и быстро выбегает.

Кондратий Трифоныч остается один и опять принимается за ходьбу. Но он чувствует, что у него начинается щемить

сердце, он чувствует, что к глазам что-то подступает.

– Ладно! это ладно! – говорит он самому себе.

– Что «ладно»-то? – спрашивает внутренний голос.

«Ну, черт с нею! – думает он, – поеду в Москву и найду себе... а ведь она, чай, за повара?»

И опять начинает сосать сердце, и опять начинает что-то подступать к глазам.

– Ваня! позови Агашу! – говорит он словно изменившимся голосом, просовывая голову в переднюю.

Через минуту Ванька возвращается и докладывает, что Агашка не идет.

– Да ты поди, ты скажи ей, что я... так.

Ванька скрывается.

– Вы меня спрашивали, Кондратий Трифоныч? – раздаётся в темноте знакомый голос.

– Вы за кого же замуж выходите, Агашенька-с? – спрашивает Кондратий Трифоныч.

– Я-с... за повара... за Степана-с!

– Гм... за Степана! а в девушках оставаться не хотите?

– Уж позвольте, Кондратий Трифоныч!

– Ну бог с вами! кто же у вас посаженным отцом будет?

Агашенька перебирает пальцами концы большого платка, который накинута у ней на шею.

– Хочешь, я посаженным отцом буду?

– Ах, нет!.. нет... уж оставьте это, Кондратий Трифоныч!

– Что ж, и в посаженные-то уж взять не хотите?

Агашенька, видимо, тяготится разговором; она переминается с ноги на ногу; ей хочется уйти. Кондратию Трифонычу кажется, что она неблагодарная.

– Ну, с богом! что ж... если я... если я... ну, и с богом!

Кондратий Трифоныч давится и, чтоб скрыть охватившее его волнение, кашляет; но в ту минуту, когда он поднимает голову, Агаши уж нет...

– Хоть жить-то у меня останетесь ли? – кричит он вслепую, не получивши ответа, ворчит: – Ишь! даже ответа не дает! а ведь я два года еще право имею... ладно!

Между тем на дворе разыгрывается вьюга; она несет снопы снега с реки и укладывает их буграми и грядками около барского дома; она наполняет воздух какою-то сумятицей и застилает огоньки, которые светятся в людских избах и в тихую погоду бывают видны из господского дома; она визжит и воеет; она стучится в стены и в окна, словно просится со стужи в тепло.

– Нет тебе ни правой, ни левой, нет тебе ни правой, ни левой! – слышится Кондратию Трифонычу в этом заунывном голошении вьюги.

Делать решительно нечего; что было дела – все переделал, что было мыслей – все передумал. Часы тоскливо стучат: тик-так, тик-так, и Кондратий Трифоныч чувствует, как взмахи маятника, один за другим, уносят его надежды. Он чувствует, что с каждой минутой все больше и больше дряхлеет, что дерево жизни подточено, что листья один за одним

все падают, все падают...

– Что ж это он чаю, подлец, не дает! – вскрикивает он, как уязвленный, удостоверившись, что часовая стрелка стоит на половине осьмого. – Ванька! чаю, чаю-то что ж не даешь? Не стою я, что ли?

Ванька хочет уйти.

– Нет, ты мне говори: не стою, что ли, я чаю, что ты меня до сих пор моришь?

– Я думал, что не надо! – огрызается Ванька.

– Ты думал! он думал! милости просим! он думал! а ты знаешь ли, как вашего брата за думанье-то! он думал!.. ты! ты!.. ах ты! Ну, ступай... ладно!

Кондратий Трифонович опять пересчитывает свои обиды: тогда-то пыли не стер, тогда-то рожу соорил, тогда-то прыснул в самое лицо барину, тогда-то без чаю намеревался оставить.

– Агашку взбаламутил, – говорит он, инстинктивно склоняя голову набок, как будто сообщает это по секрету становому на ухо.

Но вот и чай выпит; Кондратий Трифонович берет засаленные карты и начинает раскладывать гранпасьянс. Он гадает, уродится ли у него рожь сам-десять – не выходит; он гадает, останется ли Агаша жить у него – не выходит; он гадает, избавится ли его имение от продажи с публичного торга – не выходит.

– Нет тебе ни правой, ни левой, нет тебе ни правой, ни

левой! – злится на дворе вьюга.

Кондратий Трифоныч спит; в комнате жарко и душно; он разметался; одна рука свесилась с кровати, другая легла на левую сторону груди, как будто хочет сдержать учащенное биение сердца. Он видит во сне, что последовало какое-то новое распоряжение. В чем заключается это распоряжение, сон не объясняет, но самое слово «распоряжение» уже вызывает капли холодного пота на лицо Кондратия Трифоныча. Он стонет и захлебывается.

Поутру, часов в восемь, чуть брезжится, а уж его будит Ванька.

– Что такое? что такое? – спрашивает он, глядя на Ваньку мутными глазами.

– Становой приехал!

– А!.. лладно! – произносит Кондратий Трифоныч, и лицо его принимает ироническое выражение, которое очень не нравится Ваньке.

– Именье описывать приехал-с! – говорит Ванька в самый упор, как бы желая сразу окатить Кондратия Трифоныча холодной водой.

Занавес опускается.